П. Я. ЧЕРНЫХ

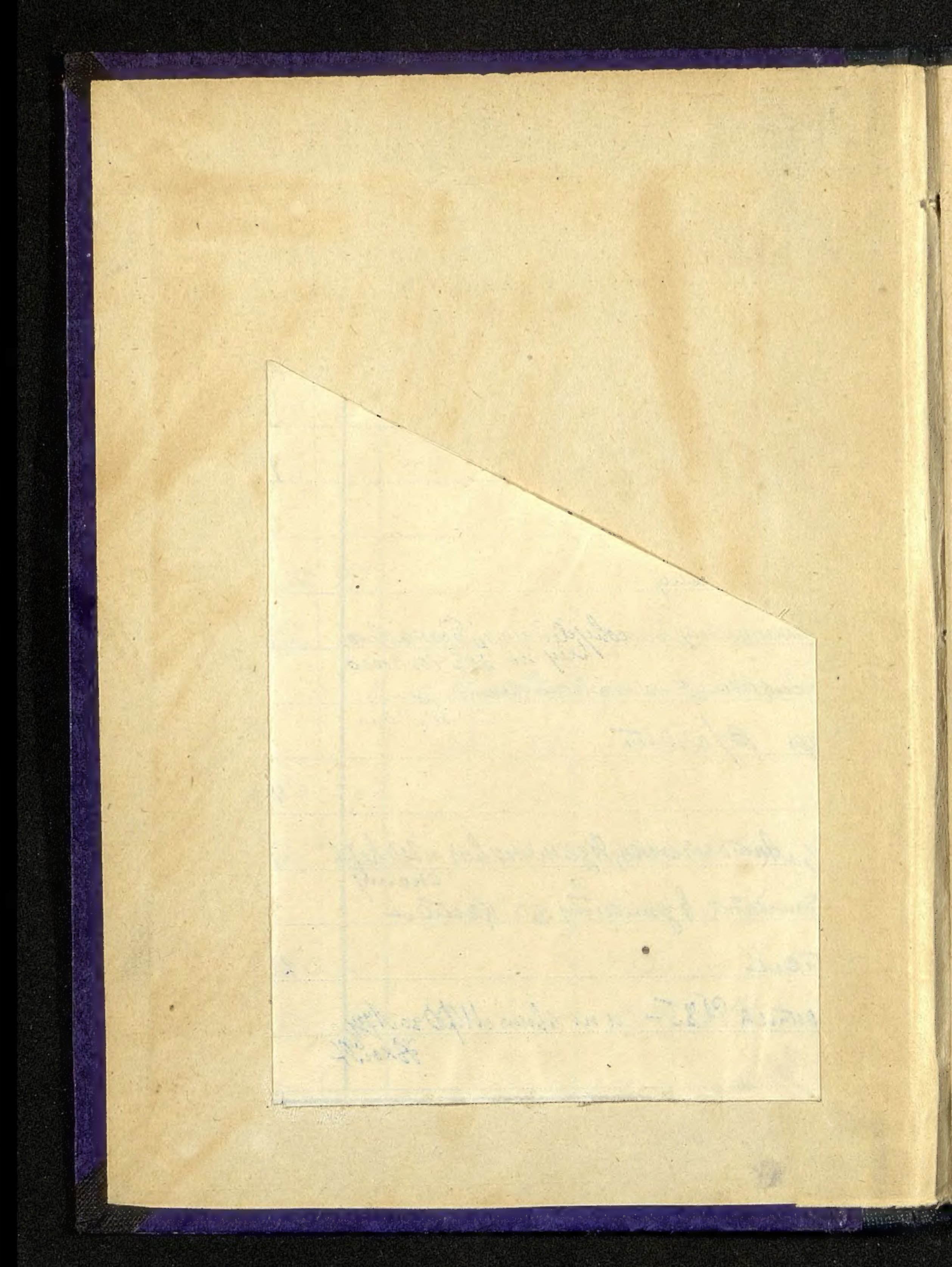
I

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

II

РУССКИЙ ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ

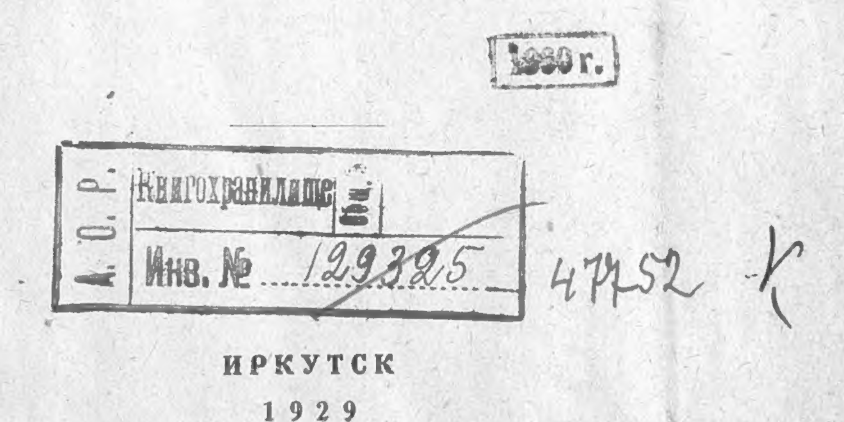
ИРКУТСК
1929



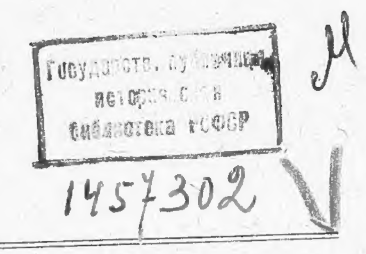
П. Я. ЧЕРНЫХ

I
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ

II
РУССКИЙ ЯЗЫК И РЕВОЛЮЦИЯ



ИРКУТСК
1929



Иркокрлит № 1553
Типогр. изд. „Власть Труда“
Заказ 5458 1929 Тираж 400

Главнейшие современные течения в области теоретической лингвистики*.

В настоящее время не редко можно услышать мнение, что наука о языке вступила в период какого-то «кризиса», что она переживает нечто похожее на революцию и т. п. Этого мнения придерживаются не только люди далекие от языковедения, посторонние для лингвистики (молодой науке о языке, к сожалению, не приходится горевать о недостатке недоброжелателей). Его разделяют также и некоторые лингвисты [1]).

Между тем, для такого заключения не имеется достаточных оснований. В действительности ничего, напоминающего «переворот», в науке о языке не случилось. Те течения и направления, которые можно считать характерными для современной лингвистики,

---

* Доклад, прочитанный автором на конференции окончивших Педагогический факультет Иркутского Гос. Университета, 25—I—1929.

[1]) См., например, статью Р. Шор «Кризис современной лингвистики» (Яфетический сборник, в. 5, Лгр. 1927).—Из работ, посвященных обозрению современных лингвистических течений, кроме упомянутой статьи, можно еще отметить автореферат В. Н. Волошинова «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе» (Литература и Марксизм, 1928 г., кн. 5). Несколько сумбурным характером отличается статья М. Я. Немировского «Современное языкознание и его очередная задача» (Изв. Горского Педагог. Института. Владикавказ, 1926 г.)

органически связаны с основным потоком лингвистической мысли. Современное языковедение не изменило своего русла: оно его расчищает и углубляет.

Развитие всякой науки нельзя представлять себе в виде прямой линии. Это линия очень изогнутая, изобилующая петлями, очень колеблющаяся, но все-таки непрерывная. Вот почему не следует удивляться, что некоторые основные положения современной лингвистики, в той или другой их части, в том или другом их виде, можно встретить и у старинных лингвистов первой половины прошлого столетия и даже у их отдаленных предшественников. Известно, например, что понятие о социальной природе языка, которое является движущим рычагом современной лингвистики, не было чуждо и самому основателю философского языковедения—Ф. Вильгельму Гумбольдту, умершему в 1835-ом году, почти сто лет тому назад,—а, может быть, даже древнегреческим и средневековым французским авторам замечательных трактатов по реторике, с их различением нескольких стилей речи сообразно различию в целевой и социальной установке говорящего лица. Впрочем, уже то одно обстоятельство, что некоторые из основоположников нового движения в лингвистике являются учеными, вся научная деятельность которых связана со «старым», сравнительным индоевропейским языковедением, как, например, А. Мейе или покойный Ф. де-Соссюр,—уже само по себе говорит об органической связи этого нового движения с предшествующим периодом развития лингвистических изучений.

Как известно, своими истоками наука о языке теряется в глубокой древности. Ее первые ручейки образовались на почве Эллады, этой прародины европейской культуры. Особенное значение языковедение получает в т. н. «александрийский период» (по назва-

нию древней столицы Египта—Александрии, ставшей после падения древнегреческой независимости сосредоточием эллинской науки и поэзии). В эту эпоху оно процветает под названием «грамматики», задачи которой понимаются как чисто утилитарные: она устанавливает правила для различения литературных и нелитературных форм и создает условия, облегчающие понимание и об'яснение литературных текстов. Древнегреческий литературный язык классического периода, представляющий уже известные трудности для своего усвоения в эту эпоху, является предметом ее изучения. Несколько позже грамматические рассуждения александрийцев были приложены римлянами к изучению латинского языка, а впоследствии были переданы ими и другим европейским народам, приобщившимся к римской цивилизации.

На первых порах единственно достойным предметом грамматических изучений в Западной Европе признавались классические языки древности: греческий и латинский, из которых последний, в средние века, как известно, получает уже значение общеевропейского литературного и государственного языка. Но с течением времени, под сильным влиянием классической грамматики, начинается также грамматическое изучение новых европейских языков, возникающее, однако, не в силу чисто-научного интереса к явлениям речи, самим по себе, а исключительно из практических потребностей. Известно, например, что первые грамматики французского языка, дошедшие от XIV—XV-го столетий, были написаны по заказу некоторых англинизированных норманнов, так как к этому времени они уже начали забывать язык своих предков, завоевателей Британнии,—французский, который они стремились сохранить как язык аристократии.

Чем ближе к новому времени, тем шире разрастается грамматическое изучение отдельных национальных языков. Нечего и говорить, что это изучение касается только литературной письменной речи. Живой разговорный язык образованных людей, не говоря уже о языке народном, игнорируется грамматистами, которые вследствие этого мало по малу усваивают глубоко ошибочное представление о неизменяемости во времени и неподвижности всякого языка. Именно эти черты: пристрастие к литературной письменной речи и привилегированное положение классических языков древности и отсутствие ясного представления о изменяемости и текучести живого языка,—эти черты можно считать характерными для до-научного периода в развитии языковедения.

В начале XIX-го столетия положение резко меняется. Открытие санскрита, литературного языка древних индусов,—языка, который по своему строю в некоторых отношениях оказался древнее классических языков Европы, греческого и латинского, и сравнительное изучение этих языков, показавшее, что факты и явления одного языка могут быть легко об'яснены путем сравнения его с другими языками, родственными по их происхождению; установление этого родства как следствия дифференциации языка-отца, или праязыка и, в качестве конечного вывода, заключение о изменяемости всякого живого языка с течением времени—вот, приблизительно, та сумма данных, которые действительно позволяют говорить о перевороте в изучении человеческого языка, происшедшем на заре XIX-го столетия. Немецкий ученый Франц Бопп по праву считается основателем научного языковедения, получившего с этой поры определенно исторический характер. У Боппа оказалось достаточно единомышленников и после-

дователей, благодаря деятельности которых новая наука о языке, принявшая имя «сравнительного языковедения» или «сравнительной грамматики», была поставлена на прочный фундамент. Дальнейшая ее разработка заключалась в развитии сравнительно - исторического метода и в применении его к изучению отдельных языковых групп в пределах индо-европейского языкового семейства.

В результате упорного труда, благодаря успешному применению сравнительно-исторического метода, языковедам уже к концу столетия удается в стройной схеме восстановить историю индоевропейской семьи языков, начиная от индоевропейского праязыка, через стадии праязыков романского, германского, славянского, и пр., вплоть до настоящего времени. Сравнительно-исторический метод мало по малу начинает применяться и к изучению отдельных индо-европейских языков в их истории: путем сравнительного изучения современных наречий и говоров известного языка, в связи с показаниями письменных памятников, исследователь получает возможность реконструировать разнообразные изменения, пережитые данным языком, и при этом не только за исторический период его существования, но также и в эпоху до-историческую, до появления письменности, начиная от того состояния, которое предшествовало образованию современных его разновидностей. В зависимости от этого изучение нелитературной, народной и вообще живой, разговорной речи получает исключительное значение. Впрочем, к этому положению о необходимости изучения живого языка, об исключительной важности диалектологии, по крайней мере, как дисциплины вспомогательной по отношению к истории языка, новая наука пришла не сразу. Это требование является одной из характерных особенностей т. н. «младо (или: нео-)грамматического“ направления в лингвистике.

Как известно, своего наивысшего развития сравнительное языковедение достигло в 70-ых и 80-ых годах XIX-го столетия, в учении «младограмматиков», молодых лингвистов, главным образом, немецких, впервые, на основании уже полученных ранее данных и собственных разысканий, попытавшихся построить теорию сравнительного или исторического языковедения. Книге немецкого ученого Г. Пауля «Принципы истории языка» суждено было стать евангелием «младограмматического» движения.[2]) Это была вершина, на которую должна была взойти молодая наука о языке для того, чтобы убедиться, что кроме того пути, который она избрала, имеются еще и другие дороги к той же заветной цели, к познанию языка как явления человеческой жизни.

Новейшие течения и направления в лингвистике в значительной степени возникли в виде реакции против некоторых уклонов младограмматического учения, на почве критики младограмматической теории. Действительно, главной задачей науки о языке согласно этому учению была окончательно признана его история. Научное, об'яснительное изучение всякого языка, и человеческого языка вообще, оказывается возможно только на почве его истории. Правда, изучение языка допускается и в его временном разрезе, в тот или другой период его существования, но это описательное изучение языка, если только оно стремится стать научным, может быть построено только в аспекте его истории и должно служить главной задаче: исторического познания языка. Современная лингвистика, напротив, исходит из положения об исключительном значении именно описательного, статического изучения, справедливо полагая, что оно может рассматри-

[2]) G. Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle 1880[1].

ваться как самоцель и что определение системы известного языка в тот или другой период его существования и ее основных законов имеет не меньшее, а, может быть, даже и большее значение для целей познания природы и жизни человеческого языка. Подобно тому, как близорукому человеку для его практических, обиходных потребностей бинокль не может заменить очков, постоянное преобладание исторической точки зрения над статической, диахронической перспективы над синхронической, привело, между прочим, к тому, что даже некоторые абсолютно правильные лозунги и требования, выдвинутые младограмматической школой, получили неправильное истолкование. Так именно случилось с младограмматическим лозунгом о необходимости изучения живой разговорной речи, мало по мало приняв шего характер скрупулезного кропания над архаическими особенностями народного языка.

Одним из наиболее характерных тезисов младограмматического учения является положение о закономерности языковых изменений, по крайней мере, в области произношения (фонетики),—учение о «фонетическом законе». Сущность этого учения сводится к тому, что то или иное изменение звука происходит во всех словах, где он употребляется при одинаковых фонетических условиях. Исключения из фонетического закона следует считать мнимыми, потому, что они возникают или на почве влияния одних слов на другие, морфологически родственные слова, т. е. на почве аналогии, или на почве влияния одних языков или наречий, диалектов на другие, т. е. на почве заимствования. В виду того, что всякое фонетическое изменение обусловливается соответствующими изменениями в укладах органов речи, то в общем можно сказать, что закономерность в области фонетического развития языка, по учению младограмматиков, сводится

к механическому чередованию физиологических привычек при произношении того или другого звука. Отсюда становится понятным то исключительное значение, которое с этого времени получает физиология произношения с ее детищем—экспериментальной фонетикой. В области морфологических изменений, напротив, господствующим, по учению младограмматиков, является фактор психологического порядка, аналогия, в основе которой лежит ассоциация представлений по сходству с ее механическими законами сцеплений. К столь же механической игре законов ассоциации представлений по сходству или по смежности могут быть также сведены и многие изменения в области реального значения слов. Отсюда—увлечение психологией речи. Изучение языка принимает односторонний и монотонный характер.

Новейшее языковедение возникло на почве общей усталости от этих недостаточно жизненных и мало плодотворных лингвистических штудий, как проявление вечно свежей и ищущей лингвистической мысли и более естественного интереса к языку как орудию общения и мышления, одной из наиболее могущественных форм общественной связи.

Первым явлением, которое, собственно, дает уже основание говорить об окончании предшествующего периода [3]) в истории языковедения, можно считать знамени-

---

[3]) В новое время наблюдается, так сказать, перемещение штаба лингвистических изучений из Германии в другие страны. Как уже было упомянуто выше, Германия была родиной сравнительного языковедения. В течение всего XIX-го столетия немецкие ученые были во главе лингвистической науки. В новейшее время это положение занимают французские языковеды. Таким образом, перемещение центра лингвистических изучений можно рассматривать как отражение, внешний символ совершившейся перемены, вступления лингвистики в новый период своего развития.

тый «Курс общей лингвистики» женевского профессора Фердинанда де Соссюра, опубликованный уже после его смерти его женевскими учениками Байи и Сеше́й'ем [4]). Отсюда и самое название «женевская школа» в лингвистике.

Известно, какие трудности представляет краткая характеристика того или другого учения. В нескольких словах можно коснуться только наиболее отличительных, оригинальных особенностей упомянутой школы. Новое учение о языке исходит, прежде всего, из положения, подчеркиваемого решительно и резко, что язык есть социальное явление, что он не существует иначе, как в головах людей, на нем говорящих, и что объяснение лингвистических фактов и явлений следует искать в законах жизни и развития человеческой психики и человеческого общества.

Выставляя это положение, Соссюр, однако, спешит оговориться, что оно относится к языку как комплексу лингвистических навыков, как системе знаков, принятой в том или другом обществе людей в качестве орудия общения,—но не к говорению как индивидуальному пользованию лингвистическим кодом. Дело в том, что, согласно учению Соссюра, следует различать следующие

---

[4]) F. de Saussure «Cours de linguistique gènèrale». Payot Paris. 1916[1], 1922[2]. Некоторые положения этой теории получили известность еще до опубликования «Курса», благодаря книге A. Sechehaye'a «Programme et metodes de la linguistique thèorique» H Champion, Paris 1908. У нас учение Соссюра начинает прививаться только в последние годы. Одною из первых по времени работ, так или иначе связанных с именем основателя женевской школы в лингвистике, у нас является книга Г. Винокура «Культура языка» М. 1924. Из русских языковедов за границей учеником Ф. де Соссюра является С. Карцевский (автор известного школьного пособия «Повторительный курс русского языка» Гос. Изд. 1928 и др. работ).

две основные разновидности человеческой речи вообще: язык в собственном смысле этого слова (langue) и язык -говорение (parole). Отношение между ними он сравнивает с отношением между симфонией как музыкальным произведением и ее исполнением музыкантами. Различение этих понятий имеет большое принципиальное значение, потому что, по существу, лингвистика, занимающаяся изучением языка (langue) по своим задачам и содержанию резко отличается от лингвистики, занимающейся изучением говорения (parole).

Являясь продуктом общественных отношений, принадлежностью общества, язык по необходимости должен быть рассматриваем в двух аспектах: с точки зрения его внешних (externes) элементов и со стороны его элементов внутреннего (internes) порядка. В связи с этим лингвистика распадается на внутреннюю и внешнюю, резко различающиеся между собою по своим задачам и содержанию. Задачею внутренней лингвистики является изучение языка как системы знаков, тогда как внешняя лингвистика занимается изучением тех отношений, которые связывают язык с обществом, которому он принадлежит (с его духовной и материальной культурой и бытом, с его историей политической и культурной, с его географией и т. д.). Понятно, что именно через посредство внешней лингвистики наука о языке находится в различных взаимоотношениях с этнографией, искусствоведением и литературоведением, историей и т. д. Напротив, внутренняя лингвистика совершенно свободна от этих связей, так как внутренний организм языка может быть изучаем вне каких-либо временных и пространственных отношений. Мы можем, например, изучать какой-нибудь «зендский» язык, совершенно не имея представления о народе, который на нем говорил когда-то.

В виду того, что язык представляет из себя систему звуковых символов наших мыслей и чувств, само собою разумеется, что по своей природе он близок к другим подобным системам знаков, как, напр., письменность, алфавит глухонемых, военная сигнализация и пр. Изучением этих систем, из которых язык является наиболее важной, должна, по мнению Соссюра, заняться особая наука, которую он называет «семиологий» (от греч. «сЕмион»—знак), которую он рассматривает как часть социальной и общей психологии и задачу которой определяет как «изучение жизни знаков на лоне социальной жизни».

Таковы рассуждения Соссюра о характере лингвистических изучений и их отношении к другим гуманитарным наукам,—рассуждения, которые хотя и не являются новыми в абсолютном смысле этого слова, но прекрасно уточняют некоторые лингвистические понятия. Главной заслугой Соссюра является, несомненно, его теория т. н. «статической» или «синхронической» лингвистики.

В самом деле, изучение языка со стороны его внутренних элементов допускает две прямо противоположные точки зрения, смешением которых часто грешат языковеды: язык можно изучать именно как систему знаков, все элементы которой органически связаны друг с другом, примерно, как части часового механизма,—настолько, что разрушение одного из них грозит разрушением всей системы. Такое изучение языка возможно только при условии отвлечения от временной перспективы, таким образом, что язык изучается только в тот или другой период его существования с точки зрения разнообразных взаимоотношений между его сосуществующими элементами и их природы. Соссюр называет его статическим или синхроническим изучением языка в противоположность эволютивному или «диахроническому»

изучению того или другого языка с точки зрения истории этих элементов вне данной системы. Возвращаясь к сравнению с часовым механизмом, можно сказать, что диахроническому изучению языка соответствовало бы изучение фабричного изготовления его отдельных частей: колесиков, винтиков, осей, стрелок и т. д.

Нечего и говорить, какое громадное значение для общей теории жизни и развития человеческого языка, а тем самым и для применения этой теории в жизни, т. е. для «лингвистической технологии», имеет статическая лингвистика. Так называемая грамматика языка научная и, как сколок с этой последней,—школьная, обыкновенно не дают представления о языковой системе. По удачному сравнению Байи́, ученика Ф. де-Соссюра, в его известной книге «Язык и жизнь», это грамматическое изучение языка напоминает большую картину, все полотно которой предварительно было разрезано на мелкие части, при чем на каждой из них в отдельности нарисованы детали. В своей совокупности эти детали, понятно, не дают представления о целом.

Главной задачей статической лингвистики, Соссюр считает изучение «синтагматических» и «ассоциативных» отношений между словами, при чем «синтагмой» Соссюр называет всякое языковое единство,—будет ли это слово или словосочетание,—распадающееся в сознании говорящих на составные элементы, благодаря разнообразным ассоциативным отношениям с другими элементами языка (производные и сложные слова, предложения, отдельные словосочетания и т. п.). Например, в русском языке: читает, читает книгу, мальчик читает, маленький мальчик и т. д., Всякая синтагма и всякое слово в каждом языке бывают связаны с другими синтагмами и другими словами или синтагматически в связной речи, или ассоциативно вне связной речи, только

в сознании говорящих. Так, например, в русском языке слово «читает» ассоциативно связано с другими словами или по своему корню («читаю», «читатель», «чтение» и пр.), или по своей формальной принадлежности («играет», «несет», «просит» и пр.), или вследствие известного сходства в области их реального значения («зубрит» и т. п.) или, напротив, вследствие противоположности в этом отношении («пишет» и т. д.). Синтагматически слово-синтагма, вроде «читает», связано с последующими и предыдущими словами в связной речи,—в данном случае, с названиями тех предметов, на которые процесс чтения может распространяться («книгу», «письмо» и т. д.), условий и обстоятельств чтения («вслух», «с чувством, с толком и т. д.», «про себя» и т. д.), лица, которое производит процесс чтения («мальчик», «студент» и пр.), с формой винительного п. последующего существительного и именительного—предыдущего.

Получается два ряда связей, отношений между словами, и в изучении этих двух рядов отношений в каждом языке и в каждый период его существования и заключается, по мнению Соссюра, основная задача синхронической лингвистики. Разумеется, он решительно отвергает традиционное деление грамматики на морфологию и синтаксис и ограничение ее содержания только этими двумя отделами. Он полагает, что грамматикой следует называть вообще статическую или синхроническую лингвистику, употребляя этот термин в таком же смысле, в каком говорят, наприм., о «грамматике шахматной игры» или о «грамматике биржи» и т. п. Единственно рациональным делением грамматики является деление, соответствующее двум рядам отношений, устанавливаемых им между словами. Таким образом, в понимании Соссюра, грамматика обнимает не только факты

и явления, составляющие содержание грамматики в узком смысле этого слова, но также и данные лексикологии и семантики. За пределами грамматики остается только учение о звуках речи или, по терминологии Соссюра, «фонология».

Как уже было упомянуто выше, учение Ф. де-Соссюра является платформой т. н. «женевской школы» в лингвистике, в настоящее время представляемой такими учеными, как Байи́, Сешеэ́й и др. Наибольшей известностью из этих учеников и последователей покойного языковеда пользуется Байи́, автор «Трактата о французской стилистике» и книги «Язык и жизнь» [5]). Байи́ рассматривает язык не как орудие мышления, но как орган выразительности, экспрессии. Его интересует не интеллектуальная, а эмоциональная сторона речи, как средство воздействия говорящих людей на слушающих. «Стилистикой» он называет лингвистическую дисциплину, которая занимается изучением именно этой стороны языка. Она является, так сказать, особым курсом грамматики, потому что она занимается изучением фактов и явлений, которые также рассматриваются и в грамматике, но изучением с другой точки зрения, чем в грамматике,—с точки зрения их выразительности, их экспрессии. Она занимается изучением выразительных средств языка как социального установления («langue», по терминологии Соссюра), главным образом, повседневной разговорной речи, и распадается на те же отделы, что и нестилистическая грамматика: фонологию, лексикологию, морфологию и синтаксис. Она не распространяется на область «говорения» (parole), хотя ее и не могут не интересовать те отношения, которые существуют между «говорением» и «языком». Таким обра-

[5]) Ch. Bally. Le langage et la vie. Payot. Paris 1926.

зом, задачи и содержание этой дисциплины Байи понимает иначе, чем обыкновенно. Его стилистика, например, почти не касается тех приемов, которыми сознательно пользуется артист, скажем—художник слова, для произведения эстетического эффекта.

Идеи «женевской школы» получили широкое распространение в Европе и за ее пределами. Самое имя ее основателя сделалось символом нового направления в лингвистике. Однако, было бы несправедливо думать, что этим течением, собственно говоря, и исчерпывается современное движение лингвистической мысли.

Не менее важное значение в этом отношении имеют также труды наиболее замечательного из современных здравствующих языковедов, знаменитого индо-европеиста *Антуана Мейе*. Этому ученому наука обязана разработкой некоторых основных вопросов *социологической* лингвистики.

Как уже было указано выше, понятие о языке, как социальном явлении, не было чуждо некоторым языковедам середины прошлого столетия. Но только в начале XX-го века было, наконец, понято и усвоено то простое положение, что проблема лингвистической социологии является кардинальной в лингвистике и что языковеды в первую очередь должны приняться за ее разработку. Яснее, чем кто-либо другой, понял значение этой проблемы и ближе, чем остальные языковеды, подошел к ее разработке французский ученый Мейе, автор замечательной книги «Лингвистика общая и лингвистика историческая»,—книги, которую можно рассматривать

как первый очерк, первый набросок будущей социологии языка [6]).

Нет ни необходимости, ни возможности слова перечислять основные положения этого учения, которые в настоящее время получили значение общепринятых принципов лингвистического изучения. В основном они сводятся к тому, что задачей теоретического или общего языковедения, которое не следует смешивать с исторической лингвистикой и которое может быть заложено на основе, с одной стороны, сравнительно-исторического изучения генеалогически родственных языков, а с другой,—сравнительно-статического изучения различных языков с точки зрения того общего, что для этих языков в данный момент является характерным,—что этой задачей служит изучение общих для всех языков и во все времена законов развития человеческой речи, законов абсолютных и точных, которые позволяли бы предвидеть будущее, так как в этом заключается признак совершенного знания. Но для того, чтобы определить постоянные законы развития лингвистических фактов, необходимо сначала изучить те непостоянные и колеблющиеся условия, от которых зависит реализация лингвистических возможностей. Этими условиями является структура общества и характер общественных отношений.

Если, с одной стороны, язык, как сложная система средств выражения, представляет из себя чисто линг-

[6]) A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale. Champion, Paris 1921 [2]. На русском языке проблеме лингвистической социологии посвящена небольшая статья М. Петерсона «Язык как социальное явление» (Ученые записки Р. А. Н. И.О.Н. по Институту языка и литературы, т. 1, М. 1927). Популяризации этой проблемы у нас в значительной степени способствовала также книга Р. Шор «Язык и общество» М. 1926 г.

вистическую реальность, то, с другой,—его природа может быть рассматриваема как чисто социальная, так как всякий живой язык является продуктом коллективного творчества. Вот почему он подлежит изучению также и с социологической точки зрения, при чем изучение социальных условий развития и существования языка необходимо отличать от изучения условий анатомического, физиологического и психического характера,—изучения, сближающего языковедение с такими науками, как анатомия, физиология и психология. Напротив, изучение социальных условий ставит языковедение в прямые отношения с социологией, частью которой оно является. В этой своей разновидности оно может быть названо социологией языка или лингвистической социологией.

Знаменитый полиглотт и блестящий знаток индоевропейских языков, Мейе́ не только поставил ребром вопрос, но сумел, с помощью большого количества хорошо проверенных и абсолютно достоверных примеров, доказать наличие определенной зависимости между такими явлениями социального порядка, как структура общества и процессы социальной дифференциации и унификации, и соответствующими лингвистическими переживаниями, особенно в области словаря и семантики. В частности, Антуану Мейе́ удалось привлечь внимание и возбудить серьезный интерес к проблеме социальной диалектологии с ее основным понятием «социального диалекта», имеющим не менее важное значение для социологической лингвистики, чем понятие этнического или областного диалекта для исторического языковедения. Впрочем, более подробной разработкой этой последней проблемы наука обязана другим французским ученым, в особенности Р. де ля Грассери́, автору книги «Говоры

различных социальных классов» (Париж, 1909) и других работ по социальной диалектологии.

Я только что упомянул о понятии этнического диалекта, основном понятии т. н. «диалектологии». В этой области за последнее время также произошли существенные изменения. Возникло новое течение, связанное главным образом с именем Жильерона, французского языковеда, прославившегося изданием «Лингвистического атласа Франции», [7]) — движение, которое может окончиться полным «переоборудованием» этой дисциплины на новых началах.

Как и учение Соссюра и Мейе, новое течение в диалектологии зародилось на почве реакции против известных крайностей младограмматической теории языка. Но если заслугой Соссюра следует считать его резкое противопоставление лингвистики статической или синхронической лингвистике диахронической, возбуждение научного интереса к первой и раз'яснение ее исключительного значения для философии языка; если заслугу Мейе́ следует видеть в его решительном подчеркивании социальной природы языка и требовании социологического освещения языковых явлений; то несомненной заслугой Жильерона является его сокрушительная критика механистического об'яснения языковых изменений вообще, и в особенности механистического толкования фонетической эволюции языка.

По учению Жильерона, язык необходимо рассматривать как продукт разумной деятельности говорящего коллектива. Наибольший интерес для языковеда представляет изучение таких процессов и фактов, кото-

---

[7]) I. Gilliéron et E. Edmont. Atlas linguistique de la France. Paris 1900—1912.

рые могут быть использованы как проявление коллективного разума. Ибо всякий язык во всякий период его существования характеризуется стремлением говорящих на этом языке к наибольшей простоте и ясности выражения, стремлением к идеалу лучшего и удобнейшего языка,—стремлением, которое, однако, не всегда является разумно сознательным: подобно ходьбе, деятельность говорящих может быть рассматриваема как бессознательно целесообразная.

Наиболее важным препятствием в этом стремлении говорящих к идеалу лучшего языка являются фонетические изменения, представляющие из себя болезненное, разрушающее начало в жизни человеческого языка. Уподобляясь живому организму, язык старается их преодолеть, тем или иным способом, так или иначе. Отсюда— постоянная борьба между началом разрушающим и началом созидающим, — борьба, которою характеризуется внутреннее развитие всякого языка.

Понятно, что при таких условиях развития языка о механической правильности фонетических изменений не может быть и речи (или об этой правильности можно говорить только в отдельных случаях и только в известном смысле), потому что существует совершенно неопределенное количество причин для прекращения или заторможения того или другого фонетического изменения. В конечном счете, не будет большим преувеличением сказать, что каждое слово имеет свою фонетическую историю.

В связи с этим утверждением находится отрицание диалекта как себе довлеющей языковой особи, языковой клетки, замкнутой в своих строго определенных и исторически неизменных границах. Таких диалектов не существует. Географическая физиономия языка постоянно видоизменяется. Происходит влияние одних

диалектов на другие и их смешение. Все диалекты органически связаны друг с другом и живут одной жизнью со всем языком в целом. Заниматься изучением границ отдельных диалектов не имеет смысла. Не много толку и в изучении границ отдельных диалектических особенностей (например, той или другой особенности произношения). Географическая характеристика отдельных слов является единственно достойной задачей диалектологии, или лингвистической географии, как ее теперь принято называть на Западе [8]).

Таково в самых общих чертах учение Жильерона и его единомышленников и последователей, учение, возникшее, главным образом, в процессе работы над громадным материалом, заключающимся в «Лингвистическом атласе Франции». Это монументальное издание, предпринятое Жильероном в сотрудничестве с другим французским ученым, Эдмоном, печатавшееся в течение двенадцати лет (с 1900 по 1912 г. г.) и в настоящее время представляющее из себя громадное собрание лингвистических карт Франции, иллюстрирующих распространение отдельных французских слов и словосочетаний,—это издание, идея которого нашла себе широкое распространение и оказалась весьма плодотворной для диалектологического изучения других языков, само по себе является крупным событием в истории новейшего языковедения.

Между упомянутыми тремя философскими концепциями языка можно указать, кроме того, что авторами их являются французские ученые, также и некоторое сходство по существу. Все они рассматривают язык как социальное явление, как систему знаков,

---

8) См. A. Dauzat. La gèographie linguistique. Champion, Paris 1922.

принятую тем или другим обществом людей в качестве орудия общения, как продукт коллективной деятельности говорящих, обусловленной этническими и социальными отношениями. Согласно этой точке зрения, задачей языковедения является изучение именно языка, но отнюдь не говорения как индивидуальной языковой деятельности, индивидуального языкового творчества.

Несколько в стороне от этого движения в области теоретической лингвистики стоит немецкий ученый Карл Фосслер, один из замечательнейших современных мыслителей—языковедов, автор оригинальной «Философии языка» и целого ряда других работ, основатель немецкой т. н. «идеалистической» школы в языковедении.

Правда, при желании можно и у Фосслера отыскать не мало точек соприкосновения с упомянутыми французскими теориями языка. Это общее об'ясняется, главным образом, одинаковыми условиями возникновения этих лингвистических течений. Все они образовались на почве критики младограмматического толкования языковых фактов и явлений. Но если у теории Фосслера ко́рни оказываются одни с французскими учениями о языке, то внешние формы она все-таки получила иные, чем во Франции. В конечном счете, и Фосслер понимает язык как явление социальной жизни. Только за этой социальной видимостью языка, он сумел разглядеть и об'яснить и такие его стороны, о существовании которых представители позитивного, «положительного» языкознания не хотели и подозревать.

Основные положения этой теории вкратце сводятся к тому, что язык является одной из форм интуитивного познания, отличающегося от познания логического, между прочим, тем, что оно постоянно протекает в условиях самообнаружения, стремится к собственному выражению, при чем орудиями этого выражения

служат фантазия и образ. Другими словами, язык следует рассматривать как творческий процесс, художественную деятельность отдельных говорящих индивидуумов. Если под «красотой» мы условимся понимать «удавшееся выражение», то о языке можно сказать, что его «истиной» является «осмысленная красота». Каждый говорящий является поэтом и художником. «Крошечная капля какого-нибудь болтуна в конечном счете проистекает из того же источника, как и бесконечный океан какого-нибудь Шекспира или Гёте». Эта творческая деятельность в области слова осуществляется при наличии воспринимающей деятельности других говорящих и обе они взаимно дополняют и обусловливают друг друга. Языковый вкус, или чувство языка, играет при этом роль регулятора.

Следовательно, язык есть не более и не менее как одна из форм искусства. Проблема языка есть эстетическая проблема. Поэтому задачей грамматического изучения языка в тот или другой период его существования должно служить изучение техники словесной красоты. Понятно, что во главе всей грамматики Фосслер ставит стилистику, от которой советует переходить к изучению явлений синтактических, морфологических и фонетических, так как по его мнению, всякое явление языка прежде чем получает социальное значение и становится условным или шаблонным, проходит через горнило свободного языкового творчества отдельных членов данного языкового коллектива,—творчества, изучением которого занимается стилистика. Точно также и история языка, если только она действительно хочет быть научной, должна превратиться в историю словесного искусства в широком смысле этого слова, или в историю лингвистического вкуса,—ибо «ни малейшее изменение звуков не совершается в языке помимо из-

вестной эстетической симпатии и некоторого удовлетворения, являющихся действием лингвистического вкуса или чувства». Нечего и говорить, что, понимая историю языка как историю словесного творчества Фосслер категорически отрицает наличие какой бы то ни было закономерности в области фонетических изменений.

Таким образом, настаивая на необходимости эстетического изучения языка, Фосслер, подобно Соссюру, не отрицает необходимости исторического его изучения, хотя и представляет себе задачи этого изучения несколько иначе, чем обыкновенно. В самом деле, поскольку в языке как художественной деятельности постоянно обнаруживается деятельность «духа», самое развитие языка неминуемо должно служить отражением постепенного развития «духа», «духа» нации, национального «гения». В своей замечательной книге «Французская культура в зеркале своего языкового развития» (вышедшей в Гейдельберге, в 1913-ом году) Фосслер пытается показать, какими тесными узами история французского языка связана с социально-политической и культурной историей Франции,—не только с точки зрения, так сказать, внешней истории языка (процессов дифференциации и унификации), но и внутреннего его развития (истории звуков,—например, гласных, со стороны их дифтонгизации и монофтонгизации,—и слов). Правда, в этой части своего оригинального учения Фосслер до некоторой степени уже приближается к теории Мейе, об'единяясь с последним в стремлении отыскать социологически корни языковых явлений.

Большой интерес представляют также размышления Фосслера об отношении науки о языке к науке о литературе. Несмотря на различие методов, обе науки, по его мнению, занимаются изучением одного и того же предмета: словесного творчества, словесного искусства,

при чем наука о литературе находится в более благоприятных условиях, чем языковедение, в том смысле, что она, так сказать, имеет дело с единицами крупными и немногими, тогда как лингвистика—с очень многими и чрезвычайно мелкими. С другой стороны, языковедение, как и литературоведение и как искусствоведение вообще, связано со всеми другими науками о культуре. Оно, как и изучение всякой другой деятельности «человеческого духа», одновременно является и наукой специальной, поскольку рассматривает язык с точки зрения его «истины», и наукой собственно культуроведческой, так как язык изучается здесь как продукт культурного развития человечества. Культуроведческое изучение предмета является таким же необходимым придатком к его специальному изучению, каким, по выражению Фосслера, является, например, лошадь для всадника или окна и двери для жилища.

Отсюда становится понятным и отношение Фосслера к проблеме лингвистической социологии. По его мнению, социология языка не может не иметь определенных границ. Подобно тому, как благовоспитанный кавалер, из вежливости, оставляет свою даму у дверей ее туалетной комнаты, исследователь языка принужден умерять свое социологическое любопытство и свои социологические интересы всякий раз, как только он приближается к этим заповедным пределам.[9])

---

[9]) Karl Vossler Sprachphilosophie. M. Hueber, München 1923. См. особенно: «О границах лингвистической социологии» и др. статьи, собранные в этой книге. Учение Фосслера, сложившееся, с одной стороны, под влиянием В. Гумбольдта, а с другой,—В. Кроче (знаменитого итальянского философа, автора трактата «Эстетика как наука о выражении или как общая лингвистика». Русский перевод: М. 1920) в некоторых отношениях очень напоминает теорию А. А. Потебни (известного русского языковеда вто-

И так, мы видим, что Фосслер занимает довольно своеобразное место среди представителей современной теоретической лингвистики и философии языка. Он резко отмежевывает свое учение о задачах и содержании лингвистического исследования от учения упомянутых Соссюра и Байи́. Изучение языковой системы,—или как системы знаков, символов наших представлений и тех отношений между ними, которые мы устанавливаем в процессе мышления, или как системы выразительных средств языка,—такое изучение, конечно, необходимо и возможно, но оно является, так сказать, вершиной здания, а не его основанием. Языковая система есть абстракция, не более, как мертвое тело, или искусственный анатомический препарат. Изучение языковой системы почти ничего не дает для познания живого языка. Ибо жизнь языка заключается в сознательной, творческой деятельности отдельных представителей того или другого языкового общества, — деятельности художественной по своему существу, регулируемой языковым вкусом.

Нечего и говорить, что упомянутыми выше явлениями не исчерпывается современное движение в области теоретической лингвистики. Мы ограничились беглой характеристикой только наиболее популярных в настоящее время теорий. Но и этого обозрения доста-

---

рой половины прошлого столетия), своим философско-лингвистическим образованием обязанного, главным образом, В. Гумбольдту.

Из работ, посвященных учению Фосслера, на русском языке наиболее ценной по прежнему остается статья С. М. Боткина. Обзор работ Карла Фосслера по романскому языкознанию. Журнал Мин. Нар. Просв., за 1915 г., июль. Из современных языковедов-марксистов влияние Фосслера заметно сказывается на В. Н. Волошинове, авторе книги «Марксизм и философия языка», Прибой М. 1929.

точно, чтобы не считать преувеличением вывода, что в области общих вопросов языковедения в настоящее время на Западе наблюдаются признаки исключительного оживления. Хотя во главе современного научного движения в лингвистике попрежнему остаются французские и немецкие ученые, но, в сущности говоря, новые веяния давно уже перекинулись и на другие страны и в той или другой степени отражаются на изучении языка. Если бы, однако, понадобилось указать за пределами Западной Европы лингвистическое течение, наиболее замечательное по своим основным положениям и по своим изумительным заключениям, то едва ли будет ошибкой признать таковым знаменитую «яфетическую теорию» советского ученого, академика Н. Я. Марра, — теорию тем более интересную, что она сложилась вне какой-либо определенной зависимости от современного научного настроения на Западе, хотя, вообще говоря, у ней имеется не мало точек соприкосновения с отдельными течениями в области западно-европейской теоретической лингвистики. В основном теория Марра может быть рассматриваема как одно из крайних проявлений социологической тенденции в лингвистике, — стремления осветить и определить социальную природу речи, социальную сущность слова, — той социологической тенденции, которая, как уже было упомянуто выше, является основным мотивом современных лингвистических исканий на Западе. Только подход к изучению этой проблемы у Марра иной, чем у западно-европейских ученых, и цели исследования — другие. Ибо Марр, — этот, по выражению покойного В. М. Фриче, «смелый застрельщик зреющей лингвистической революции», — является представителем марксистского направления в лингвистике.

Имя академика Марра неразрывно связано, прежде всего, с открытием т. н. «яфетической» семьи языков, в такой же степени родственных по своему происхождению, как и языки индо-европейские, или арийские, языки семитские и др. В состав этой семьи, некогда гораздо более обширной, чем ныне, в настоящее время входят языки кавказские (напр. грузинский и др.) и язык баскский (в Пиренеях). Так как, по первоначальному мнению Н. Я. Марра, эти языки находятся в ближайших родственных отношениях с языками семитской семьи (от слова «Сим»): арабским, древне-еврейским и др., и языками хамитскими (от слова «Хам»): кушитскими и берберскими на севере Африки, древне-египетским и др., то для новооткрытой языковой группы Марр придумал название «яфетическая семья», — по имени старшего из трех сыновей Ноя — Яфета («роди́ же Ное три сына: Сима, Хама, Яфета» и пр.). Не придавая, разумеется, никакого действительного значения этой библейской легенде, академик Марр, на первых порах, пользовался даже термином «ноетический» язык (от слова «Ной») для обозначения того языка-отца, в результате распадения которого могло явиться образование языков яфетических, семитских и хамитских.[10]

Но постепенно Н. Я. Марр пришел к оригинальному заключению, что господствующее в современной (индоевропеистской) лингвистике представление об отношении языков друг к другу, основывающееся на предположении языка-родоначальника, следствием распадения которого и дальнейшей дифференциации является

---

10) В последнее время он пользуется также термином «прометеидские» языки вместо «индо-европейские», «арийские» (от слова «Прометей», вследствие того, что Прометей, согласно древне-греческому преданию, является сыном Япета < Яфета и Климены).

образование той или иной языковой группы, — что это представление вообще говоря не выдерживает критики. Образование языковых семейств происходит не вследствие распадения языка-предка. Общие языковые особенности, характерные для языков того или иного семейства, не являются пережитком их прошлого единства, а напротив,—позднейшего происхождения, и об'ясняются возникновением общих для известной группы племен или народов хозяйственно-экономических условий существования. Так например, образование индо-европейской семьи языков, повидимому, произошло в результате сложного скрещения более древних языков первобытного населения Европы, скрещения «вызванного переворотом в общественности, в связи с открытием металлов и широким их использованием в хозяйстве». Повидимому, такого же происхождения, то-есть, образовались в результате того или иного скрещения в зависимости от изменений в области хозяйственно-экономических отношений, и другие языковые семейства и группы. Такого же происхождения, вероятно, и само яфетическое языковое семейство, осколками которого являются современные кавказские языки и баскский, — с той только разницей, что образование яфетической языковой группы относится к глубокой древности. На языках этого типа говорило первобытное население, по крайней мере, в районе Средиземноморья.

Таким образом, по учению Марра, яфетические языки являются тем ферментом, той первоначальной языковой материей, из которой, путем ее многократного, поступательного перерождения, возникли современные многочисленные и разнообразные языки почти всей Европы, а отчасти также и Азии и Африки, — подобно тому, как из углерода, в зависимости от неодинаковых физических условий процесса, получились такие различ-

ные произведения природы, как уголь, графит и алмаз. Отсюда понятно, какое громадное значение имеет изучение яфетических языков для лингвистической палеонтологии, или науки о древностях человеческой речи, — о происхождении языка и начальной стадии его развития.

Действительно, Марру удалось в несколько большей степени, чем его многочисленным предшественникам на этом поприще, проникнуть в глубокие тайники лингвистической до - истории. Значительный интерес представляют, например, его размышления о происхождении звукового языка, которому несомненно предшествовал язык ручной, линейный, кинетический. Что касается самого формирования звуковой речи, то оно, повидимому, происходило в несколько приемов, при чем материалом для ее образования могли послужить «животные крики», следовательно, — аффективного характера. Но «очеловечение натурального животного звука должно было произойти независимо от потребностей несовершенного ручного языка. Очеловечение животного звука могло последовать лишь по общественном его использовании в процессе или для коллективно устраиваемой забавы или для коллективно совершаемой работы, одинаково массовым инстинктом направляемой и требовавшей для своего осуществления протяжного повторения животного звука, неизбежного подчинения его связному или прерывистому течению производства». Эта повторность звукового комплекса, нечленораздельного звука являлась магическим средством. Отдельные звуки - слова́ первичной звуковой речи «не могли не цениться как чародейство». Вот почему, с течением времени, пользование этим зачаточным языком, сопровождавшимся музыкой и пляской, не могло не стать привилегией, монополией первобытных магов, особой общественной группы. Несколько позже этот примитивный язык, или точнее,

эта группа примитивных языков, так как каждое племя - примитив характеризовалось употреблением особого «языка», переходит «из рук владевшего им класса в более широкое пользование» и начинается формирование членораздельной звуковой речи. Начало этого формирования, очевидно, было положено возникновением производственного труда. «Без уточнения вида этого труда, в общей форме можно и сейчас отстаивать положение, что возникновение самой членораздельной речи не могло произойти ранее перехода человечества на производственный труд с помощью искусственно сделанных орудий».

Таким образом, происхождение звукового языка, оказывается, теснейшими узами связано с происхождением общественности и производственного труда. Не удивительно, что и самое развитие звукового языка может быть рассматриваемо как отражение сложной эволюции общественных форм и экономических отношений. В такой же степени, как и история человечества, история человеческой речи представляет из себя единый процесс. При этом можно говорить о трех последовательных ступенях, или стадиях, развития звукового языка в связи с эволюцией хозяйства и социальной структуры: 1) первобытного коммунизма, с аналитическим, или точнее, аморфным строем речи, то-есть, без склонения и спряжения, без суффиксов и пр., с полисемантизмом (многозначимостью) слов, не имеющих при этом никакого другого значения, кроме основного; 2) общественной структуры, обусловленной выделением различных видов хозяйства с общественным разделением труда, с расслоением единого общества на производственно-технические группы, впоследствии—цехи, с агглютинативным (или «склеивающим») строем речи, характеризующимся появлением формальных (служебных) слов, постепенно превращающихся в морфологические эле-

менты,—появлением «частей речи» и, наконец, 3) сословного или классового общества, с техническим разделением труда, с морфологиею флективного порядка.

В пределах каждого из этих трех основных этапов развития звукового языка, в свою очередь, можно выделить отдельные моменты, изучение которых открывает новые перспективы для языковеда с марксистским методом исследования. Сюда, например, относятся весьма интересные наблюдения Марра над возникновением некоторых грамматических категорий. Так, оказывается, что местоимения возникают после имен,—в связи с развитием частной собственности, вместе с представлением о собственности. Вот почему более древними местоимениями являются притяжательные или, по выражению Марра, собственнические местоимения, в конечном счете восходящие к именам, обозначающим голову, душу, тело и еще через них—к племенному названию, тотему. Из них впоследствии выделяются личные местоимения, которые, однако, на первых порах обозначали не представление о единичном лице, а о коллективе, потому что индивидуалистического восприятия предмета или явления первоначально не существовало. Таким образом, имя, еще не дифференциировавшееся на имя существительное и имя прилагательное, является первичною «частью речи». От имени, как части речи, с течением времени откалывается местоимение. И только с появлением местоимения начинается формирование глагола, возникают формы спряжения, при чем образование переходных глаголов предшествует появлению непереходных, потому что «в звуковой речи, творившейся для актуальных потребностей коллектива, нужда была в звуковых символах, словах для материального производства или надстроечной творческой жизни, для

действия. Сознание определялось не пережиточным бытием, обходившимся без звуковой речи, а творческим существованием, нуждавшимся в звуковых символах для своего адэкватного выражения». Не менее любопытны и другие наблюдения знаменитого ученого, вроде, например, того, что в период развития языка, соответствующий эпохе родового быта, слова «отец» и «мать» употребляются для выражения действующих лиц вообще, тогда как слово «дети»—в качестве служебного слова для обозначения множественного числа или падежных значений, при чем форму множественного числа для этого времени следует рассматривать как основную и первичную. Или вроде того, что грамматический род в первобытном языке не является указателем пола, а символом класса, социальной группы, которой принадлежит предмет: «это — классовый признак, перешедший в родовой, даже половой признак самого предмета, благодаря определенному социальному строю — матриархальному, через который прошло человечество. И благодаря этому мы можем датировать массовое использование одних металлов, более древних, женским их окончанием (едва ли по полу), а других—мужским и даже средним». Несколько позже, чем другие грамматические формы, возникают грамматические формы сравнения, при чем низшая, или положительная степень, оказывается отложением названия низшего сословия, средняя, или сравнительная,—среднего, а высшая, или превосходная,—высшего. А так как сословия, по крайней мере, в некоторых случаях, могут быть рассматриваемы как пережиток племенных отношений, то не удивительно, что в соответствующих формах сравнения первичных прилагательных «хороший»

и «дурной» иногда вскрываются названия племен, входящих в состав того или другого народа.

Особую силу яфетического языкознания, по утверждению самого Марра, составляет семантика, учение о значении слов. Верный своей принципиальной марксистской концепции, марксистской установке на изучение языка, основатель яфетического языкознания и в этой области центр своего научного внимания переносит с вопросов формально-психологического порядка на изучение тех отношений, которые существуют между историей человеческого словаря и знаменательной стороны слов и социально-экономической историей человечества. Он устанавливает несколько последовательных ступеней словотворчества, в строгом соответствии с поступательным развитием общественного миросозерцания, сначала космического, потом — племенного, сословного, классового...

Можно вполне согласиться с Н. Я. Марром, когда он утверждает, например, что «яфетическое учение о возникновении и развитии значений слов совершенно опрокидывает обычный способ установления основного значения слова. Словом «небо» (в первобытном языке, — поскольку об этом можно судить на основании изучения живых яфетических языков) называлось не только «небо» или «небеса», но и все, что связывалось в представлении до-исторического человека с небесами, так, с одной стороны, «облака», с другой — «светила», «звезды», равно «птицы». Название каждой птицы не только основное название птицы, в яфетических языках оказалось словом, означающим «небеса» или «небесенок», но «небо»

употреблялось также и в значении «высокий», равно «голубой», а также «гора», «голова», «верх», «острие», «начало», «конец» и т. д. и т. д.»[11])

Таким образом, хотя научные интересы академика Марра и представителей его школы почти не выходят за пределы лингвистической палеонтологии, его учение имеет неоспоримое значение для общей лингвистики. Яфетическая теория является существенной частью современных теоретических исканий в лингвистике, и, кроме того, одним из тех ее элементов, без которых науке о языке едва ли когда удастся оправдать свое социальное, практическое назначение —служить организации речевого быта. Как известно, и сам основатель яфетического движения в лингвистике неоднократно уже подчеркивал эту возможность практического приложения некоторых из основных достижений теоретического языковедения,—по крайней мере, в его яфетической разновидности. Так например, наблюдения над процессом языкового скрещения, его характерными чертами, его причинами и следствиями,—наблюдения, еще далеко не законченные, — действительно, представляют исключительную социальную ценность, ибо вплотную приближают человечество к решению одного из наиболее важных вопросов лингвистической политики — вопроса о едином международном языке.

---

[11]) Н. Я. Марр. По этапам развития яфетической теории. Сборник статей. Изд. Научно-Исследоват. Института народов Востока СССР. М.—Л. 1926. Цитаты приведены из этой книги. Кроме того, см. «Яфетическая теория». Азербейдж. Гос. Ун. Баку 1928, а также: «Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории» (доклад) Изд. Коммунистической Академии. М. 1928.

Из опытов популяризации яфетического учения в первую очередь следует отметить «Введение в яфетидологию» И. Мещанинова (Прибой Л. 1929). Более живым языком написана брошюра А. П. Андреева Революция языкознания (!) М. 1929.

Таково в общих чертах содержание знаменитой «теории Марра», возникшей и выросшей в процессе изучения «яфетических» языков, и так неожиданно поднявшей значение этих штудий. С точки зрения индоевропейской лингвистики она, конечно, не может не вызывать некоторых серьезных возражений, главным образом, со стороны этимологического сближения слов, почти никогда не считающегося с выработанным индоевропейской лингвистической школой учением о фонетическом законе. Кроме того, некоторые из тех «открытий», которые не редко считаются украшением яфетической теории, на поверку оказываются давно известными истинами, вроде например, упомянутого выше учения о «скрещении» как основном факторе образования языков, давно уже выдвигаемом такими блестящими представителями индоевропейского языкознания, как в новое время Шухардт и Бартоли[12]) на Западе, Бодуэн де Куртэнэ[13])—в России. Яфетическая теория иногда страдает чертами эклектизма, и в особенности яфетическое учение о происхождении языка и условиях его развития. Как известно, это учение во многих отношениях сближается с соответствующими теориями Вундта, отчасти Йеспересена и, в-особенности,— Нуарэ. — Самое представление об истории человеческого языка как едином процессе, о монизме в развитии языка, до известной степени невольно напоминает известную гипотезу Тромбетти относительно общего происхождения всех языков.[14]) Правда, Тромбетти в этом

---

[12]) M. Bartoli Introduzione alla neolinguistica. Genève, Leo Olschki, 1925.

[13]) И. А. Бодуэн де Куртенэ. О смешанном характере всех языков. Журнал Мин. Нар. Просв., за 1901 г., сентябрь.

[14]) A. Trombetti. Elementi di glottologia. Bologne (Zanichelli), 1923.

случае говорит об изначально едином языке, тогда как Марр выдвигает положение о первобытной множественности языков[15]).

Но, конечно, не в этих частностях сила яфетического учения о языке. Никому из предшественников Марра до сих пор не удавалось еще в таком аспекте, с таким грандиозным охватом нарисовать незабываемую картину лингвистической эволюции человечества в тесной связи с его социально-экономическим развитием. Как знать: может быть именно этим чертам эклектизма суждено с течением времени оказаться теми мостами, которые, рано или поздно, все-таки будут перекинуты из осажденной крепости яфетидизма на перелицованные дороги индо-европеистики.

Таким образом, современные тенденции в области теоретической лингвистики в то же время являются и исканиями путей, долженствующих соединить ее с жизнью. Ибо «живое слово» является наиболее актуальным лозунгом современного языковедения. Если и нельзя сказать относительно «исторической» или «сравнительной» лингвистики, что она отживает свой век, то уж во всяком случае она начинает терять свой старинный престиж. Новые задачи встают перед наукой о языке и новые методы изучения старается она отыскать.

Есть у Рабл э в «Гаргантюа и Пантагрюэле» (знаменитом средневековом романе) одно интересное место, посвященное описанию любопытного случая, про-

---

[15]) По мнению Марра, развитие человеческого языка имеет направление «от множественности к единству». Однако, первобытная множественность языков в конечном счете все-таки восходит к языку-примату с его четырьмя первичными корнями: с а л, б е р, й о н и р о ш.

пошедшего с Пантагрюэлем во время его путешествия к Оракулу Бутылки. Пантагрюэль внезапно просыпается от страшного шума, источника которого он не может отыскать. Он слышит слова, но не видит разговаривающих людей, которым они могли бы быть приписаны. На поверку оказывается, что это были слова, замерзшие здесь от сильного холода, но теперь внезапно оттаявшие в виду наступившей теплой погоды [16]).—Мне кажется, что в области лингвистических изучений в настоящее время как раз наступило такое время и что в зависимости от этого повышения температуры мало по малу начинают оттаивать слова, замороженные в предшествующий период развития науки о языке.

---

16) Том. II, книга 4, глава 55.

Русский язык и революция *).

(Итоги и перспективы изучения)

Изучение языка в такие эпохи, как наша, не говоря уже об общем интересе, представляет много привлекательного и с точки зрения чисто лингвистической,—главным образом, потому, что в такие эпохи те лингвистические процессы, которые при других условиях происходят, так сказать, в глубинах языковой жизни и отличаются медленным темпом развития, внезапно обнажаются во всей своей сложности, обнаруживаются во всей своей текучести. Вот почему, в продолжение последних десяти лет, начиная с 1919-го, не проходило ни одного года, который бы не ознаменовался выходом в свет какой-нибудь книги или статьи (а иногда по нескольку сразу), посвященных изменениям в области русского языка за время войны и революции. Некоторые из этих работ были напечатаны за границей, напр. A. Mazon «Lexique de la guerre et de la Revolution en Russie» (Paris 1920) с дополнениями R. Jakobsona «Vliv revoluce na rusky jazyk» (Praha 1921), Ed. Méndras «Remarques sur la vokabulaire de la revolution russe» (Paris 1925) и др. За границей была также напечатана (на русском языке) брошюра С. Карцевского «Язык, война и революция» (Берлин 1923). Из опу-

*) Доклад, прочитанный автором в Обществе изучения языка и литературы при Ирк. Гос. Университете, 24 ноября 1929 г.

бликованных в пределах СССР к числу наиболее ранних относится работа А. Баранникова «Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы» (Самара 1919). За нею вскоре последовала книжка А. Г. Горнфельда с претенциозным заглавием «Новые словечки и старые слова» (Петербург 1922) и другие. Последней по времени и самой обширной из этих работ является книга московского профессора А. М. Селищева «Язык революционной эпохи» (Москва 1928)[1]).

По об'ему, по количеству собранного материала, по полноте освещения и разнообразию вопросов, затронутых в этой книге, работу проф. Селищева можно считать капитальной. Ее появление можно рассматривать как факт, знаменующий собою окончание целого периода в истории разработки данной проблемы. В этом отношении среди специалистов-рецензентов этой книги (Г. Винокур, Е. Поливанов, Р. Шор и др.), кажется, разногласий не обнаруживается.

Но из этого, конечно, не следует, что изучение нашей проблемы в какой-либо степени можно считать законченным. Напротив, едва ли будет большим преувеличением сказать, что это изучение только что начато. Оно, наконец, поставлено на прочный фундамент, но дальше этого самого фундамента дело, как будто, пока еще не идет. Между тем, для всякого ясно, что проблема о влиянии войны и революции на русский язык является проблемой весьма многообразной и сложной,

---

[1]) Из позднейших работ см. особенно статьи проф. Е. Поливанова «О литературном языке современности» (Родной яз. в школе, сб. 1, 1927), «Русский язык сегодняшнего дня» (Литер. и марксизм, IV, 1928), а также Р. Шор « О неологизмах революционной эпохи» (Русский язык в совет. школе, № 1. 1929). См. также Г. Беус «Чье поле —того и воля» (Коммунистическая революция, № 7, 1928).

при чем с основным вопросом связана целая серия побочных, равномерное изучение которых совершенно необходимо для освещения всей проблемы в целом.

Действительно, лингвистическая схема тех изменений, которые пережил **русский язык** (или точнее литературный великорусский язык) за время войны и революции, сама по себе, (на первый взгляд) очень проста и понятна. Эти изменения касаются почти исключительно **лексики** (**словаря**). До сих пор не удалось установить каких-либо соответствующих изменений в области **произношения**, как это случилось, например с языком французским в эпоху «Великой Революции». Известно, например, что употребление дифтонга (двугласного звука) *ŭa* в roi, loi и т. д. вместо более раннего *ye*, установилось в литературном французском произношении как раз после «Великой Революции».— Не отмечено также каких-либо существенных изменений и в области грамматики, кроме, может быть, небывалого распространения именных образований насчет глагольных, вроде „он не принял радио вследствие мешания“ (вместо «вследствие того, что ему мешали») и т. п. Совершенно иначе дело обстоит со словарем.

Вообще говоря, изменения в области лексики (как и в области произношения и грамматики) происходят **беспрерывно** и заключаются в утрате одних слов и появлении других. Но при обыкновенных, нормальных условиях жизни эти изменения, подготовляемые исподволь, протекают незаметно для говорящих, *вне* поля их языкового сознания. Напротив, в такие эпохи, как наша, положение резко меняется: утрата одних слов и появление других становятся интенсивнее, принимают массовый характер. Они начинают обращать на себя внимание говорящих. Создается даже впечатление в некотором роде «переворота» в языке, хотя, по большей

части, разумеется, ни о каком перевороте не может быть и речи. Во всяком случае, это относится к русскому языку в эпоху войны и революции.

Таким образом, лексические изменения, пережитые русским языковым обществом за годы войны и революции, сводятся, с одной стороны,—к утрате, а с другой, —к появлению новых слов. При этом, говоря об утрате слов, необходимо принять во внимание, что сплошь и рядом слово может исчезнуть из речевого обихода, но сохраняется, так сказать, в запасе, из которого, в случае надобности, оно может быть снова призвано на действительную службу. Очевидно, к числу вышедших из разговорного обихода за время революции старых слов относятся такие, как напр. полиция, чиновник, жалование, подданный и т. п. Но не от этой утраты (о которой, конечно, не приходится жалеть) создается впечатление лексического переворота, а, главным образом, от появления громадного количества новых слов.

Обыкновенно, при лексических изменениях, новые слова *или* образуются из туземных морфологических частей (т. е. корней, суффиксов и префиксов), по образцу других слов, *или* заимствуются из других языков, при чем в последнем случае, по бо́льшей части, подвергаются морфологическому преобразованию на данной почве. Эти две категории слов следует различать и по отношению к новым русским словам, военного и революционного периода. К первому из этих двух разрядов относятся такие слова, как напр. мешочник, красноармеец, выдвиженец, беженец, воскресник, октябрины, колчаковщина, советский и т. п. Ко второму: антанта, танк, спекулянт, трибунал и др. К этой группе новых слов примыкают: во-первых, заимствованные слова с русскими

суффиксами и префиксами: спартаковец, интеллигенщина, реквизнуть, соделегат и т. д., а во-вторых, русские слова с заимствованными суффиксами: большевизм, советизация, живист и т. д. Сюда же следует относить и такие переводные слова и выражения, как напр. пара (в значении «несколько»): пара месяцев (ср. немецк. ein Paar Monate), в общем и целом (ср. немецк. im grossen und ganzen) и др.

За пределами этих двух категорий новых слов оказываются сокращенные слова. Их появление не было предусмотрено упомянутой выше лингвистической схемой, которая в этом отношении оказывается явно несостоятельной. Впрочем, эта чрезвычайно своеобразная словарная группа является специфической особенностью главным образом новейшего русского языка. Сокращенные слова образуются или из начальных частей слов в словосочетании: главпрофобр, коминтерн, рабфак; или из начальных звуков: вуз, нэп, цик; или по названиям начальных букв: гепеу, энкапе, эркан; или путем компиляции этих принципов: окроно, комсостав и т. д.

Все вышесказанное относится к словам, которые можно считать новыми, так сказать, по самой их звуковой оболочке. Но, как известно, новыми для языкового сознания той или иной эпохи могут представляться и некоторые старые слова, получившие новое значение. Такими новыми словами для нашего времени являются: совет (в значении «совет раб. и крест. депутатов»), червонец (в значении «кредитный билет 10-ти рублевого достоинства». В старину это слово употреблялось в значении «золотая монета 3-х рублевого достоинства»), партийный (в значении «большевик», «коммунист»), сокращение (напр. по службе), чистка (напр. партийная) и другие.

Вот, в общих чертах, сухая схема новейших изменений в области русской лексики. Это,—именно, схема, но не больше. Это только внешняя сторона проблемы, сложность и многообразие которой заключаются в причинности упомянутых явлений.

В самом деле, едва ли не наиболее характерной чертой только что закончившегося (первого?) периода в истории разработки занимающей нас проблемы является увлечение, так сказать, собирательской стороной работы и систематикой фактического материала по языку военной и особенно революционной эпохи. Между тем, вопрос о влиянии войны и революции на русский язык относится к числу вопросов, изучение которых выходит за пределы «чистой лингвистики» (в обычном понимании этого выражения) и вплотную приближает языковедение к социологии. Короче говоря, изучение этого вопроса возможно только с точки зрения лингвистической социологии, под углом социологии языка. В недостаточности социологического момента в освещении нашей проблемы следует видеть коренной недостаток и упомянутой выше книги А. М. Селищева и предшествовавших ей более ранних исследований и наблюдений.

Основной причиной лексических изменений, по большей части, являются изменения в условиях жизни и составе того коллектива, который пользуется данным языком в качестве орудия общения и мышления и может считаться его носителем и хранителем его традиций.

Если согласиться с тем, что носителем русской литературной речи (общевеликорусского языка) и хранителем его традиций является, главным образом, так называемая «трудовая интеллигенция», а в особенности представители тех профессий, которые имеют прямое

отношение к слову: артисты и писатели, адвокаты и журналисты, научные работники и педагоги и т. д., то одной из главных причин лексического обновления русского литературного языка, очевидно, придется признать, прежде всего, те изменения в составе этого коллектива, которые имели место в результате войны и революции. Я имею в виду количественные и качественные изменения в составе этого коллектива в связи с формированием рабоче-крестьянской интеллигенции. Одним из следствий упомянутого социального процесса является, с точки зрения прежних носителей литературного языка, некоторое общее снижение литературной нормы речи и, в связи с этим, борьба за эту самую норму,—борьба упорная и длительная, главные эпизоды которой, вероятно, у большинства из читателей еще на памяти и которая еще и до настоящего времени не может считаться в какой-либо степени законченной.

Борьба за «стандартный язык» едва ли не расколола всех образованных русских людей на два враждующих лагеря: с одной стороны, ревнителей «чистоты и правильности» русской речи, рыцарей «великого и могучего» русскаго языка, непримиримых пуристов, а с другой,—сторонников совершившегося лингвистического обновления. Не трудно при этом установить, что указанное выше разделение в значительной степени является отражением социальной революции и борьбы классов [2]). Правда, делать какие-либо категорические утверждения на этот счет было бы теперь преждевременно, но не может не обратить на себя внима-

---

[2]) Ср. аналогичное явление из истории Французской Революции. См. Н. Державин «Борьба классов и партий в языке Великой Франц. Революции» «Язык и литература», т. II, в 1. Ленинград 1927.

ние, например, то обстоятельство, что представители контр-революционной эмиграции, повидимому, без исключения оказались на стороне непримиримых противников современных языковых новшеств. Сюда относится известное мнение «О русском языке» князя С. Волконского (в парижских «Современных Записках», за 1923-й год, кн. XV), истерическая статья К. Бальмонта «Русский язык» (там же, за 1924-ый год, кн. XIX) и др. Из «отечественных» представителей пуризма раньше других получил возможность высказаться А. Г. Горнфельд в его замечательной речи на с'езде словесников в Петрограде в 1921-ом году (впоследствии переработанной и изданной под заглавием «Новые словечки и старые слова». Петербург 1922). У Горнфельда к этому времени уже были предшественники (например, некто А. Т. в петербургском «Вестнике литературы» за 1920-й год), но еще больше оказалось продолжателей, например, в лице Вл. Азова с его любопытным «Открытым письмом Академии Наук, Наркому Просвещения Луначарскому, Акцентру, Губполитпросвету, Сорабису, Управлению Актеатров, месткомам частных театров и всем грамотным людям» («Жизнь искусства» за 1923-й год, № 43)[3], а также, до некоторой степени, покойного Д. Южина с его несколькими статьями в «Красной Газете» за 1926-й год, №№ 129, 149 и др.

[3]) «Человеку, который любит русский язык, придется «одеть» рубище, сказать смиренно «извиняюсь» и «подойти» в пустыню. Проснитесь спящие и не дайте беженскому волапюку завладеть сценой академических театров, как он завладел уже трамваем, тротуаром, магазином и гостиной». Так заканчивается письмо В. Азова. Нечего и говорить, что автор сильно преувеличивает значение «беженского волапюка» в развитии русского литерат. языка послевоенного периода. Кстати сказать, этот вопрос также мог бы обратить на себя внимание исследователей.

Из перечисленных авторов умереннее других по настроению является Южин, одна из упомянутых статей которого заканчивается таким характерным признанием: «Да кто же против этого?.. (т. е. против того положения, что всякий язык изменяется и что смешно требовать от языка, «чтобы он застыл в старых... формах»). Наша страна спешила втиснуть столетие в комок последних десяти лет. И в домне войны и революции наш язык, плавясь, *и* обогатился, *и* засорился. Сбить окалину и обнажить блестящий, плавкий, звонкий металл—это ли не задача для нынешнего писателя и журналиста» (ст. «Любители русской словесности». Кр. Г., 1926, № 149). Другие статьи в общем однообразны по своему содержанию и отличаются подозрительно раздраженным тоном. Среди новых «словечек» особенное и единодушное негодование пуристов возбуждает знаменитое «извиняюсь», эта, по выражению князя Волконского, «большевистская формула вежливости», это «ужаснейшее слово», распространенность которого «можно сравнить только с некоторыми насекомыми».

Как бы, однако, ни относиться подозрительно к некоторым проявлениям воинствующего пуризма, не следует все же забывать, что, если и не целиком на стороне этого движения, то, во всяком случае, в числе сочувствующих ему, можно указать не мало и самих революционных деятелей и даже вождей революции. В этом именно духе написана известная заметка В. И. Ленина «Об очистке русского языка» (опубликованная в «Правде» за 1924-й год, № 275) с ее призывом «объявить войну коверканию русского языка». Незадолго до напечатания этой заметки в том же роде высказывался Л. Д. Троцкий (в книге «Вопросы нового быта». М. 1923) и др.

Это, если угодно, один из враждующих лагерей. Но можно говорить и о лагере защитников обновленного русского языка. Правда, их гораздо меньше и у них, повидимому, не имеется каких-либо определенных и устойчивых позиций и общего плана «военных действий».

На этот раз вопрос уже ставится иначе: «Порча языка или болезнь роста?» Именно так озаглавлена одна из наиболее характерных для этого направления статей (некоего И. Фомина в ж. «Журналист», за 1925-й год, № 4), автор которой приходит к заключению, что «горевать по поводу переполнения русского языка новыми словами, комбинациями слов, оборотами жаргонного происхождения» вовсе не стоит. «Ведь никто не горюет о том, что исчезает кельтский язык, умерла латынь, а живут ее потомки — романские языки». И таким образом «панацеи против порчи языка искать не приходится. Здесь нет болезни, требующей быстродействующих средств. Здесь только болезнь роста. Следовательно, не лечить надо, а руководить, управлять». Еще раньше Фомина, но несколько в другой плоскости, тот же вопрос был поставлен В. Карпинским в статье «Коренной вопрос эпохи культурничества» («Правда», от 12-VI-1923). Заявляя о том, что «для огромнейшего большинства населения» наш, так называемый, «литературный язык», «выработанный ничтожным привилегированным меньшинством» («дворянской интеллигенцией») является не более как жаргоном, «арго́», — Карпинский требовал в некотором роде «опрощения» языка, «изгнания из нашей печати иностранщины и литературщины». Едва-ли, впрочем, Карпинский, обрушиваясь на «витиеватый, замысловатый, иронический литературный язык», — не имел в виду при этом, главным образом, стилистическую сторону речи. Вслед за Карпинским приблизительно в

том же духе высказывался и Л. Сосновский в своем докладе «Газета и читатель» на совещании рабкоров («Правда», от 21-XI-1923). Сосновский ссылался на слова Ленина, сказанные им «почти на второй день после Октябрьской революции: — Ну, теперь надо учиться писать по русски. Теперь это не подпольная женевская газета! — и выражал опасение, относительно «перерождения простого народного языка в сторону интеллигентского».

Я остановился только на некоторых эпизодах упомянутой борьбы за литературную норму речи. Сама по себе она могла бы послужить хорошей темой для специального доклада. Приходится пожалеть, что ни у Селищева ни у его предшественников не обращается достаточного внимания на это интересное явление.

Таким образом, борьба за литературную норму речи, за стандартный язык об'ясняется происшедшими социальными изменениями в составе прежнего языкового коллектива, непосредственно повлекшими за собой разрушение прежней нормы, возмущение против обязательности этой старой нормы и, вообще говоря, более свободное обращение со словом.

Из явлений этого рода едва ли не наиболее замечательным следует признать небывалое распространение иностранных слов (и иностранной фразеологии). Необходимо при этом отметить, что в данном случае речь идет не о заимствовании новых слов из языков иностранных — в русский, абсолютно новых слов, никогда не бывших здесь в употреблении. Напротив, редкое из них является абсолютно новым для русского языка. И все-таки для значительной части русского языкового общества они производят именно такое впечатление.

Дело в том, что всякий «литературный» язык может быть назван общим только в условном смысле,

так сказать, с точки зрения его конечного назначения,— постольку, поскольку у говорящих на нем оказывается нужда во взаимном общении. В этом случае говорящие, обыкновенно, производят отбор среди того запаса слов, которым они располагают, отделяя общепонятные слова от слов узко-специального назначения. Иначе говоря, всякий литературный язык обыкновенно подразделяется на ряд специальных технических диалектов, которыми в своем кругу, пользуются представители той или иной специальности, той или иной профессии: врачи, инженеры и техники, военные и т. д. При этом нередко случается, что из специального языка слова попадают в общий (напр., в литературном русском «дрефить» — бояться, из морского жаргона; ср. дрейф, лечь в дрейф, дрейфовать и т. п.). В конечном счете, происходит тот же процесс заимствования, но заимствования в пределах одного и того же языка.

Нечто подобное мы как раз и наблюдаем в настоящее время по отношению к иностранным словам в русском языке после-революционной эпохи. Громадное количество слов, употреблявшихся в сравнительно небольшом кругу образованных русских людей, становится обиходным в общерусском разговорном языке: агитация, декрет, делегат, буржуазия, пролетариат, комиссия, комитет, организация, пропаганда, резолюция и т. д. Газеты пестрят такими хитроумными выражениями, как: «путем окружения главных держав их сателлитами вместо общества народов получается экспозитура двух министерств иностранных дел, французского и английского» («Известия ЦИК'а, от 24-IX-1924). Возникает даже нечто вроде моды на иностранные слова, которые мало по малу начинают распространяться насчет соответствующих русских, нередко в связи с искажением их обычного смысла (ср.

«в виду острого дефекта хинина в СССР отпуск товаров прекращен». Из об'явления Ковровского аптекаря «Крокодил», за 1928-й год, № 15) Дело дошло, наконец, до того, что некоторые еженедельники в качестве задачи-головоломки для своих читателей предлагают даже переводить на русский язык «небольшие отрывки» из речей провинциальных русских ораторов (см. напр. «Огонек», за 1929-ый год, № 11) и т. д. Какова же социальная подоплека упомянутого явления?

Едва ли это небывалое распространение иностранных слов не находится в связи, главным образом, с тем исключительным значением, которое в жизни русского общества после-революционной эпохи получила социальная группа активных политических, особенно партийных деятелей. К сожалению, на это обстоятельство исследователи новейших лексических переживаний русского языка также не обратили достаточного внимания. Правда, некоторые замечания о возможности этого об'яснения имеются и у Селищева и у его предшественников, но замечания беглые, не обязывающие читателя к тому или иному выводу. Нельзя не сознаться, однако, что решение этого вопроса весьма затрудняется отсутствием какого-либо справочника по языку русских политических деятелей до-революционной эпохи (вроде напр. работы Василевского по языку польских революционных деятелей «Slowniczek gwary partyjnej w Krolewstwie Polskiem. Mat. i prace Komisyi jezykowej Ak. Um. w Krakowie. T. V, 1912).

Мне кажется только, что роль эмиграции в этом процессе все-таки сильно преувеличена. Несомненно, что особенное пристрастие к иностранным словам можно также считать характерной чертой «отечественных» русских революционеров второй половины прошлого и начала нынешнего столетий. Некоторые указания на этот счет

имеются у отдельных писателей, например, у Л. Толстого в романе «Воскресение», в 65-ой главе первой части которого, как известно, описывается встреча Нехлюдова с революционеркой Верой Ефремовой в приемной комнате тюрьмы: «Речь ее, — говорит Толстой: была вся пересыпана иностранными научными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, секциях и подсекциях, — которые она была, очевидно, вполне уверена, что все знали, а о которых Нехлюдов никогда и не слыхивал». Несколько позже, в Сибири, Нехлюдов снова встречается и с Ефремовой и еще с другими революционерами. В главе 14-ой третьей части Толстой заставляет одного из этих последних, Новодворова, произнести даже целую речь, при чем она опять оказывается вся пересыпана иностранными словами: «массы составляют об'ект нашей деятельности, но они не могут быть нашими сотрудниками до тех пор, пока они инертны... И потому совершенно иллюзорно ожидать от их помощи до тех пор, пока не произошел процесс развития». Ср. также у Тургенева в романе «Новь» в главе 20-ой, посвященной описанию политической гулянки у «революционно» настроенного купца Голушкина: «в разгоряченной атмосфере Голушкинской столовой завертелись, толкая и тесня друг друга всяческие слова: прогресс, правительство, литература, податной вопрос, церковный вопрос, женский вопрос, судебный вопрос; классицизм, реализм, нигилизм, коммунизм; интернационал, клерикал, либерал, капитал; администрация, организация, ассоциация и даже кристаллизация. Голушкин, казалось, приходил в восторг именно от этого гама; в нем-то, казалось, и заключается для него настоящая суть».

Еще раз повторяю: отсутствие достаточного освещения этого момента было бы несправедливо поставить в вину

одному только проф. Селищеву: в этом отношении у него не оказалось предшественников. И все-таки этот вопрос нельзя не признать одним из чрезвычайно важных частных вопросов нашей проблемы.[4]) Приблизительно то же самое можно сказать и относительно влияния на общерусский литературный язык, например, военного жаргона.

О наличии в обиходном литературном языке значительного количества слов военного (армейского и флотского) происхождения свидетельствует и Селищев и другие наблюдатели. Конечно, употребление этих слов в более или менее ограниченном кругу специалистов, а иногда до некоторой степени и за пределами этого круга, было известно и до войны и революции, но никогда оно не переходило в у в л е ч е н и е военной терминологией широкими кругами говорящих. А ведь именно так обстоит дело в настоящее время. Мы настолько привыкли к некоторым из этих терминов, что уже не сознаем их специального происхождения: а в а н г а р д, л е г к а я к а в а л е р и я к о м а н д н ы е в ы с о т ы, р а в н е н и е н а..., у д а р н а я г р у п п а, ш т а б (революции) и т. д. Сюда же относятся такие выражения, как напр. «развертывание (работы и т. п.)», «подковаться» в

---

[4]) В связи с этим вопросом находится и другой,—об отношении русской революционной терминологии к французской эпохи Великой Революции. Как отмечает это и проф. Селищев, русская революционная терминология в значительной мере восходит к французскому языку революционной эпохи. Такие слова, как м а н д а т, т р и б у н а л, д е к р е т, к о м и с с а р и т. д. родились и получили свое значение в условиях французской революционной жизни. К французским оригиналам восходят и такие выражения, как с т а р ы й р е ж и м и обращение «г р а ж д а н и н» и т. д. Через посредство языка русских революционеров эти слова и выражения проникли в общерусский язык и получили здесь распространение. Селищев вкратце касается этого вопроса в начале своей книги.

смысле «подтянуться», из кавалерийского жаргона) или знаменитое «даешь» («даешь Европу», и т. п., из жаргона матросов, ср. англ. do yes).

Ограничиться в этом случае голым констатированием факта, очевидно, не достаточно. Необходимо установить пути и причины и условия распространения военных слов и военной фразеологии. Между тем, этой работы еще и не начиналось. Нечего и говорить о трудностях предстоящего исследования: следует принять во внимание почти полное отсутствие у нас каких-либо научных разысканий о военном жаргоне вообще, а в эпоху, предшествующую революции,—в особенности. Подобные разыскания были произведены, например, французскими лингвистами в отношении жаргона французских солдат и офицеров во время империалистической войны 1914-1918 г.г. (См. A. Dauzat L'argot de la guerre P. 1921). Можно, однако, полагать, что военный жаргон у нас образовался до революции. Условия гражданской войны, а после окончания военных действий—и демобилизации, обстоятельства упорной борьбы на экономическом и идеологическом «фронтах»,—оказались благоприятными для его развития и распространения.

Кстати, нельзя не пожалеть, что в своей книге проф. Селищев совершенно искусственно ограничил область своего изучения только языком революционной эпохи. Как указал еще Мазон, язык революционного времени теснейшими узами связан с языком военной эпохи 1914-1917-го годов, подобно тому, как и сама революция в значительной степени является детищем войны. Разумеется, сказанное относится не только к военному жаргону, но и вообще к русскому языку в целом.

В более благоприятном положении находится вопрос об элементах воровского жаргона или «блатной музыки» в русском литературном языке. Блатной жаргон

до-революционного времени неоднократно привлекал к себе внимание исследователей. В настоящее время мы располагаем целой серией блатных словарей, составленных в разных пунктах до-революционной России. Мы можем судит о характере и принципах воровского арго в его русской разновидности. Зато пути исключительного его распространения, причины и условия его небывалого влияния на общерусский язык после-революционного периода выяснены далеко не достаточно. В этом отношении безусловно имеют значение, опять-таки, и условия гражданской войны и борьбы классов, доставившие «возможность» для значительной части населения познакомиться с тюремным режимом, и такие явления, как беспризорничество, и пр. Одним (но только одним) из путей распространения воровского словаря, несомненно является школа. Многие из блатных словечек в настоящее время настолько уже привились и акклиматизировались в общерусской речи, что о их специальном происхождении говорящие уже не имеют никакого представления. Например: «ша́мать» (в значении «есть») или «трепа́ч» (в значении «лгун» или «развратник») и т. п. Но во многих случаях специальный характер этих терминов еще хорошо сознается, и не редко вызывает осуждение со стороны ревнителей «чистого и правильного» языка. В современных провинциальных и столичных газетах не редко можно натолкнуться на такие сообщения, как например, заметка под заглавием «Разговор» в иркутской газете «Власть труда» от 22-XI-1926 (отдел «В комсомоле»):—Эй, жлоб, куда прешь?—А тебе которое дело. Всякий шмыдрик спрашивать будет. Без сопливых обойдется. — Нишкни, подлюга, а то сейчас кису нагоняю. Стремить на тебя долго не буду. — Кто на тебя шкета — зэтить будет? Плетуй-ка слепой, пока не обокрали. — Ну, ладно, не мурмуль. Ты куда? — В

ячейку. — Потартаем вместе... Кто это разговаривает? (спрашивает автор заметки). Неисправимые хулиганы? Карманные воры с барахолки? Или уголовные, только что выпущенные из Александровского централа? Нет. Это беседуют двое комсомольцев. И таких ухарей среди молодежи не мало... С этим нужно бороться (и т. д.)».

Таким образом, некоторые из явлений в области русского языка после-революционной эпохи об'ясняются изменениями и перетасовкой в самом составе носителей русской литературной речи и хранителей ее традиций. Другие явления находятся в связи с изменениями в условиях жизни этого коллектива вследствие падения монархического строя и последовавших затем событий.

Целый ряд понятий был вытеснен из сознания говорящих на русском языке. Напротив, возникло много новых понятий и представлений. Соответствующим образом эти изменения отражаются и на языке революционной эпохи. Происходит обновление словарной стороны речи: ср. полиция: милиция, министр: нарком, солдат: красноармеец и т. д. В некоторых случаях это обновление вызывается не столько потребностью в обозначении новых понятий, сколько стремлением избежать употребления слов, почему либо нежелательных или почему-либо «неприличных» при данной ситуации (явление евфемизма): ср. господин, барин, милостивый государь (с одной стороны) и: гражданин, товарищ (с другой), жалование: зарплата, прислуга: домработница, паспорт: удостоверение личности, праздник: день отдыха и т. д. С явлением евфемизма в родственных по существу отношениях находится явление та́бу, — заключающееся в том, что говорящие избегают употребления некоторых слов вследствие или запрещения или добровольного от них отказа (у некультурных

народов, например, по причине суеверного ужаса перед предметом, который обозначается данным словом). К новообразованиям этого рода в литературном русском языке новейшего времени, относятся, повидимому, такие выражения, как «отправить в штаб Духонина», «отдавать деньги в земельный банк», «поставить к стенке» (вместо «расстрелять) или «Эмочка» (в качестве названия для Московской Чрезвычайной Комиссии) и др. Во многих случаях обновление словаря об'ясняется стремлением говорящих к бо́льшей выразительности, — стремлением, которое, опять-таки, очевидно, поддерживается новыми условиями жизни. Таково, например, происхождение слова «смыться» (в значении «исчезнуть») или слова «буза́» (в значении: скандал, возня, склока; по Далю: сусло, неуходившаяся брага) с целым семейством производных: «бузить», «бузотер» и т. д. или выражение «даешь» и др. Едва ли не в связи с этим стремлением к бо́льшей выразительности речи находится и распространение воровского жаргона.[5])

---

[5]) Кстати сказать, одним из объектов наблюдения должна также явиться и самая текучесть лексического состава революционной эпохи в соответствии с развитием революции и советского строительства. На нашей памяти некоторые новые слова уже вышли из разговорного обихода, напр. мешочник, чека с его производными: чекист, чекнуть и т. д. Все эти и подобные слова находятся на пути к забвению, очевидно, в связи с исчезновением самых понятий, которые этими словами обозначались. Некоторые новые слова исчезли или находятся на пути к исчезновению по другим причинам Например, слово «мандат» (при «ордер»). Едва ли я ошибусь, если скажу, что, по крайней мере, в некоторой части русского языкового коллектива это слово переживается почти как неприличное. Ср. в рассказе А. Н. Толстого «Сожитель» (из сборника «Древний путь» М. 1927): «Язык вырви, это слово тебе не скажу. Такой срам! — Она наклонилась к вдове: — Мандат!» (с. 116).

Упомянутые выше четыре категории лексических изменений, конечно, имеют место и при других условиях жизни языка. Но в такие эпохи, как наша, происходит интенсификация этих процессов, меняется их сила и самая скорость их развития, едва ли не в зависимости от изменения самого темпа жизни.

Действительно, сплошь и рядом, говоря о новообразованиях в области языка исследователи обыкновенно не учитывают одного момента, в высшей степени важного, но почти не освещенного в науке. Вопрос этот касается той связи, в которой некоторые языковые явления, повидимому, находятся с общим ускорением темпа жизни. Как известно, в русской научной литературе и именно по отношению к языку военной и революционной эпохи, этот вопрос в свое время был затронут С. Карцевским в его интересной брошюре «Язык, война и революция». Карцевский находил возможным об'яснять распространение сокращенных слов в русском языке как раз на почве общего ускорения темпа жизни в новое время. К сожалению, Карцевскому не удалось ни обосновать своего мнения достаточно вескими данными, ни указать каких-либо других явлений в области русского языка новейшего периода, которые допускали бы об'яснение на той же почве. С Карцевским по этому вопросу полемизировал Г. Винокур (в книге «Культура языка» М. 1923), в прочем, не выставивший против мнения Карцевского никаких сколько-нибудь основательных возражений.

Мне кажется, что к этому вопросу необходимо подойти со всей серьезностью, с полным сознанием его важности. Как известно, вопрос об ускорении темпа жизни человеческого общества в новое время как факторе языковых изменений впервые был поставлен покойным немецким психологом и философом В. Вундтом в его знаменитом сочинении «Völkerpsychologie»

(«Народная психология»), в I-ой части 1-го тома, посвященного языку (гл. IV, п. V, § 5 «Tempo der Rede»). В этом параграфе, ссылаясь на то обстоятельство, что ассимилятивные изменения звуков, составляющие наибо́льший процент фонетических изменений вообще, особенно характерные для новых культурных языков, носят почти исключительно регрессивный характер, то-есть предшествующий звук уподобляется последующему: ср. соврем. русск. (в устном языке): оддал, зделать; итальян. fatto при латин. factum и т. д., но не наоборот,—так что психологический смысл этих изменений можно определить как «забегание вперед»,—Вундт в конце концов приходит к тому заключению, что в основе этих изменений лежит ускорение темпа жизни в новое время.

Впрочем, Вундт ограничился только постано́вкой вопроса, не касаясь его разработки. В его распоряжении не оказалось достаточного количества фактов для подтверждения его замечательного наблюдения. Правда, он ссылается также на некоторые явления в области музыки, например, на то обстоятельство, что в наше время симфонии Бетховена, как правило, исполняются в более ускоренном темпе, чем они были скомпонированы автором. Еще в бо́льшей степени эта разница в темпе наблюдается при исполнении старых мастеров: Гайдна или Моцарта, Генделя или Баха (разумеется, за исключением тех случаев, когда ускоренного исполнения требует самый характер композиции). Но как-бы то ни было, отсутствие подкрепляющих мнение данных не обозначает, конечно, его несостоятельности. Наличие определенного ускорения темпа жизни в новое время едва ли подлежит сомнению. Стоит сравнить, с одной стороны, темп современной жизни большого европейского города с темпом

жизни современной средней европейской деревни, а с другой,—хотя бы бешенный темп современной московской жизни, поскольку она отражается, например, на уличном движении, с темпом этой жизни примерно в XVII-ом столетии, поскольку, конечно, мы можем о ней судить по сохранившимся сообщениям,—чтобы убедиться в наличии этого ускорения в связи с развитием культуры. Возможно, что такие события, как война и революция, послужили новым толчком в изменении темпа жизни. Так или иначе, но нельзя не признать, что сокращенные слова, вроде «исполком» (исполнительный комитет), «рабфак» (рабочий факультет) и т.п., в бо́льшей степени, чем несокращенные, соответствуют ускоренному темпу современной жизни.

Мне кажется, что на этой же почве можно объяснить и некоторые другие явления в области русского языка революционной эпохи, особенно распространение синтактической конструкции с отглагольным именем существительным вместо глагола, например, «как на причину его ареста указывают н а н а р у ш е н и е и м р а с п о р я ж е н и я» и т. д. (вместо: «на то, что он нарушил»...). Впервые в русской лингвистической литературе на это явление обратил внимание В и н о к у р (еще в 1923-ем году). «Еще одно любопытное явление», пишет он: «останавливает на себе внимание лингвиста... Это—необычайное распространение существительных за счет глагола в таких случаях, где наши стилистические навыки требовали бы синтаксического подчинения, т. е. придаточного предложения... Такие типические случаи, как «не принял радио вследствие мешания» или: «в случае отсутствия помощи последует съедание семенных запасов»—покажут, что́ я разумею под гипертрофией существительных и безглагольностью» (см. «Культура языка», с. 69). Нельзя не согласиться с Винокуром, что

эти новые образования в значительной степени соответствуют старой конструкции с придаточным предложением. Возможно, что это вытеснение сложной конструкции простою, вытеснение, которое можно объяснить только на почве стремления к экономии синтактической энергии (в зависимости от ускорения темпа жизни как непосредственной причины), послужило толчком и вообще к вытеснению глагольной конструкции именною, например, в таких случаях, как: «повод к воздержанию в подчеркивании своих симпатий» (вместо: «повод воздержаться от подчеркивания»...).

Кстати сказать, подобно тому, как и сокращенные слова в качестве приципа словообразования были известны и до революции (напр. Лензото, Юротат, эсдек и т. п.)[6]), так и конструкция именная вместо глагольной не является созданием только революционной эпохи, как правильно указал А. М. Пешковский в статье «Глагольность, как выразительное средство» (см. «Сборник статей» ГИЗ, 1925). Однако, при изучении подобных явлений в области русского языка военной и революционной эпохи исследователь невольно обращает внимание не столько, так сказать, на самый момент зарождения какого-либо образования, сколько на его распространение. Его (исследователя) интересует не столько хронология данного явления, сколько процесс, так сказать, популяризации нового образования. Кроме того, исследователя не может смущать, например, то обстоятельство, что в настоящее время во многих случаях именные образования рассматриваемого

---

[6]) Лензото—Ленское Золотопромышленное Товарищество. Юротат—Южно-русское Общество торговли аптекарскими товарами.

типа уже не могут быть истолкованы, как возникшие на почве ускорения темпа жизни, ибо лингвистический смысл, ratio того или иного лингвистического явления нередко изменяется с течением времени.

Вероятно, и некоторые другие языковые переживания революционной эпохи могут быть объяснены как возникшие на почве ускоренного темпа современной жизни. Я отношу сюда также необыкновенное распространение союза *ибо* вместо: *потому что, так как.* По справедливому замечанию проф. Селищева «теперь нет советского деятеля без *ибо*» (уп. соч., с. 61). Напр.: «нельзя натягивать до бесконечности струну, ибо она может лопнуть»... и т. д. Союз ибо сильно выигрывает перед сложными «потому что» или «так как» именно благодаря своей краткости.

В известных отношениях ускорение темпа жизни могло оказаться благоприятным моментом также и в процессе распространения иностранных слов на счет русских. Как справедливо полагает проф. Д. Н. Ушаков в своей заметке о новых словах в журнале «Журналист» за 1925-ый год, № 2: «на почве недостаточного умения точно и ясно выразить мысль (вследствие неумения расчленить ее и дать себе ясный и точный отчет во всех ее частях...) иностранное слово может быть легко предпочтено русскому, именно вследствие своей непонятности. Так, например, надо уметь разобраться в оттенках своей мысли, чтобы выбрать подходящее выражение, сказать ли в данном случае «недочет» или «пробел», или «недостаток»... И вот подвертывается слово «дефект» и берет верх как совсем непонятное и тем освобождающее от труда разбираться в оттенках мысли и в оттенках смысла слов» Иногда, действительно, вследствие «неумения». Но в известных случаях, по крайней мере, в языке образованных людей,

может быть, и на почве экономии времени, то-есть, опять-таки в связи с общим ускорением темпа современной жизни.

Вот приблизительно тот круг вопросов, с изучением которых приходится неминуемо считаться исследователю проблемы о влиянии войны и революции на русский язык, и этот круг, несомненно, в процессе работы должен будет по необходимости раздвинуться еще шире[7]). Все эти упомянутые вопросы связаны между собою внутренним единством в зависимости от общего плана исследования. Только при условии социологического подхода к изучению лингвистических фактов возможно успешное решение задачи.

Можно полагать, что период собирания лингвистического материала и его схематической классификации в настоящее время уже закончился.[8]) На очереди— углубление и расширение проблемы. При этом точке зрения лингвистической социологии едва ли не суждено сыграть, до некоторой степени, роль семафора на этих новых путях исследования.

---

[7]) Приходится пожалеть, что современные исследователи вопроса о влиянии революции на язык почему-то ограничивают область своего изучения только рамками литературного русского языка Советской Республики. За пределами их обозрения обыкновенно остается значительный материал по языку контрреволюционной России (в период гражданской войны) и по языку эмигрантов. Сюда относятся, например, такие явления, как употребление слова «товарищ» в значении «сторонник советской власти» в Сибири и на Юге, слова «кадет» в значении «белогвардеец» на Юге и т. п. Для истории русского словаря, конечно, эти элементы революционной лексики также имеют немаловажное значение.

[8]) Следует, впрочем, отметить, что определение «новых» слов, вообще говоря, представляет значительные трудности, особенно если принять во внимание, что то или другое слово, не употреблявшееся до войны и революции в общелитературном языке, могло употребляться со специальным назначением, в том или другом специальном языке, при той или другой стилистической установке.

Замеченные опечатки.

Стран.	Строка.	Напечатано	Следует читать.
13	8 св.	семиологий	семиологией
25	4 св	творчества	творчества,
25	6 сн.	социологически	социологические
33	16 св.	тело и еще	тело, и еще дальше,
35	3 сн.	птицы	птицы,
35	4 сн.	содной	с одной
53	13 сн.	от их	от них
59	9 сн.	в прочем	впрочем
62	13 св.	прицип	принцип

